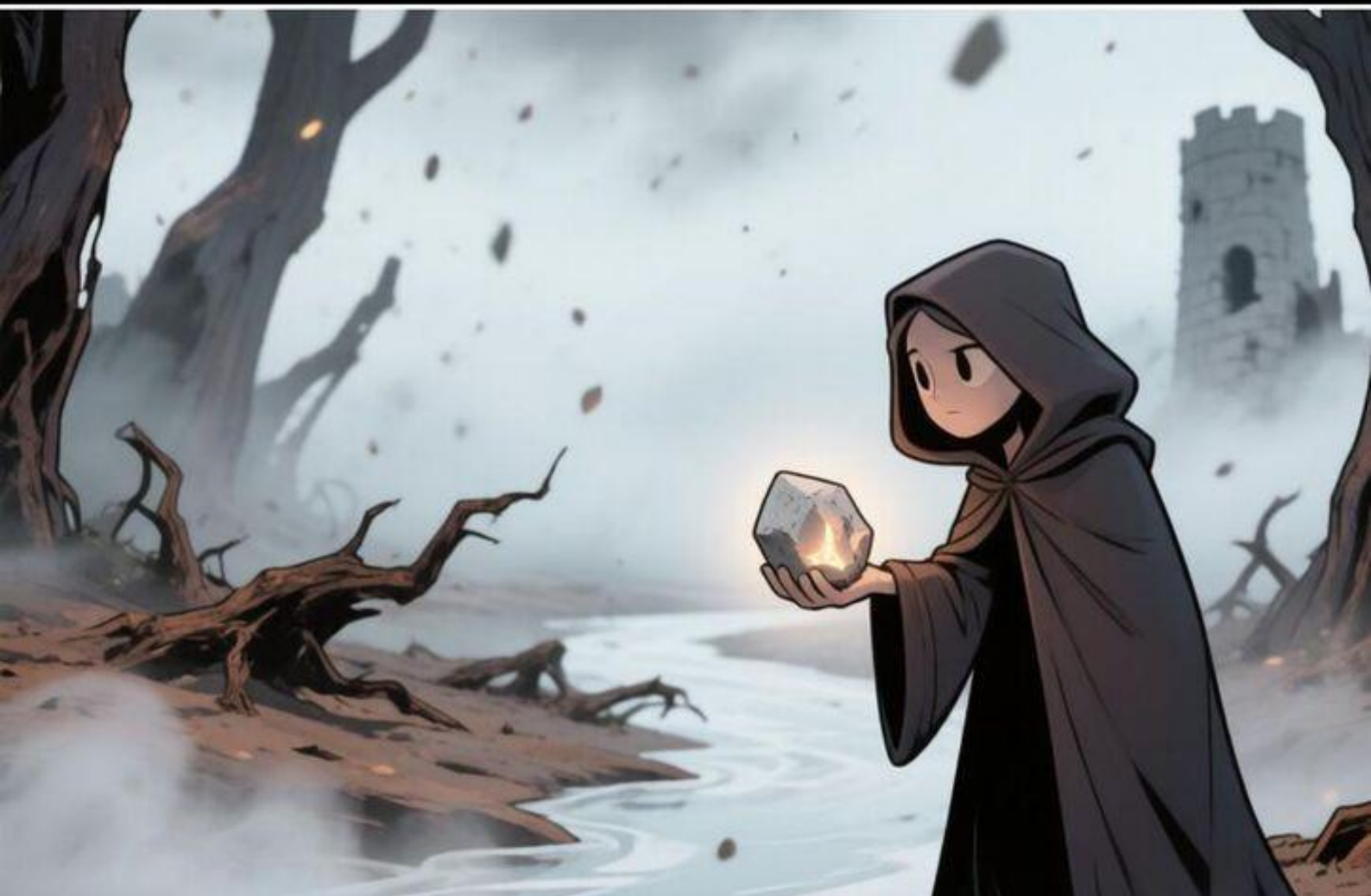
18+

Мария Мадора

Песнь забытых дорог



Мария Мадора

Песнь забытых дорог

«Издательские решения»

Мадора М.

Песнь забытых дорог / М. Мадора — «Издательские решения»,

Изгнанная из ордена Хранителей Света исповедница Эйрин возвращается в павший Вернхолл и находит камень, который возвращает чужие воспоминания — за счёт её собственных. С каждым видением она всё яснее понимает: все, кто когда-то пытался вернуть свет в эти земли, были ею самой. Пятнадцать жизней, пятнадцать стираний — и на этот раз Эйрин хочет не спасти мир любой ценой, а разорвать круг. Камень полон чужих судеб. Пустует только место для её имени.

© Мадора М.
© Издательские решения

Содержание

Синопсис 6
Глава 1. След на остывшем камне 7
Глава 2. Шёпот в пустой комнате 9
Глава 3. Цена молчания 11
Глава 4. Болота, где тонут слова 13
Глава 5. Отражение, которое лжёт 16
Глава 6. Мост над беззвучной рекой 19
Глава 7. Пепел и сталь 22
Глава 9. Слова, которых никто не произносил 27
Конец ознакомительного фрагмента. 28

Песнь забытых дорог

Мария Мадора

© Мария Мадора, 2026

ISBN 978-5-0071-7768-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Синопсис

Эйрин Сумеречная — бывшая исповедница, изгнанная из ордена Хранителей Света двадцать лет назад за то, что она слышала голоса, которых не должно быть. Вернувшись в умирающие земли, она находит странный камень — цвета остывшей золы, тёплый, будто в нём живёт медленный огонь. Камень не даёт силы: он возвращает чужие воспоминания. С каждым видением Эйрин теряет частицу собственной памяти и постепенно понимает страшное: все, кто пытался вернуть свет в эти земли, были ею самой. Орден стирал её память снова и снова, чтобы цикл не прервался. Теперь её цель — не спасти мир любой ценой, а вспомнить, кто она есть, и разорвать круг навсегда.

Глава 1. След на остывшем камне

Пепел здесь не падал — он стоял в воздухе, как оседающая память. Эйрин остановилась на последнем повороте дороги и посмотрела туда, где двадцать лет назад стоял Вернхолл, застава Хранителей, оплот света на северной границе. Теперь это были руины: чёрные зубцы стен, обугленные арки, поле, поросшее блёклой травой, которая не зеленела даже весной.

Она помнила этот поворот. Двадцать лет назад, выезжая отсюда под конвоем, она не позволила себе обернуться. Тогда это казалось силой духа. Теперь она понимала: это был страх.

Ворона села на сломанный столб у обочины и посмотрела на неё — не так, как смотрят птицы. Она смотрела так, как смотрят старики на возвращённого должника. Эйрин провела ладонью по вороту дорожного плаща — там, где когда-то висела привязная печать исповедницы, оставалась только дырка от петли и полоса выцветшей кожи.

— Я не за этим вернулась, — сказала она вороне.

Птица склонила голову набок, будто усомнилась.

Эйрин пошла вниз по склону. Ветер был не просто ветром: он нёс запах старого пепла и чего-то ещё — сладковатого, терпкого, похожего на остывший воск из часовни. Так пахли залы, где читали имена. Так пахло прощение. Его здесь давно никто не просил, но запах остался, как остаётся тень от свечи, которую погасили позавчера.

Руины не стонали, как писали в старых хрониках. Они дышали. Каждый шаг по плитам вызывал короткий, слабый толчок под подошвами — будто земля делала вдох и тут же пожалела об этом. Эйрин шла, помня наставления наставницы Мадлен: «Стены помнят шаги, Эйрин. Ходи так, будто тебе нечего скрывать». Она не ходила так. Она ходила так, будто все вещи, которые она скрывала, наконец готовы были увидеть свет.

Двор бывшей заставы зарос. В центре, там, где когда-то стояла часовня, торчал обломок колонны, похожий на сломанный позвонок. Эйрин прошла мимо колодца, мимо ржавой решётки, мимо того, что осталось от конюшен, — и остановилась у края провала, зияющего в земле на месте подземного хода.

Внизу, в тени рухнувшей башни, лежал камень.

Она увидела его не сразу: взгляд скользил по хламу, по костям, по обломкам керамики — и вдруг зацепился. Камень лежал не в яме, а на самом её краю, будто кто-то положил его туда нарочно, зная, что она придёт именно этой дорогой.

Эйрин спустилась, держась за выщербленные ступени. Пыль пахла железом. Внизу было холодно — не обычным холодом погреба, а холодом места, где долго ничего не происходит.

Камень был небольшим — не больше ладони, грубоватый, цвета остывшей золы. По его поверхности тянулись тонкие прожилки, похожие на трещины в высохшей земле. Он не блестел и не светился. Но когда Эйрин наклонилась, ей показалось, что внутри прожилок что-то сдвинулось — медленно, как вода в замёрзшей реке.

— Просто камень, — сказала она вслух.

Голос прозвучал слишком громко в этой тишине. Эйрин выпрямилась, посмотрела по сторонам: на остатки лестницы, на обвал, на нишу в стене, где когда-то хранились ключи. Здесь были голоса. Она слышала их всю жизнь — сначала смутно, как шум прибоя, потом отчётливо, как чужую речь за тонкой стеной. Именно за это её и судили.

Суд она помнила дословно — это было последнее воспоминание, которое ей оставили целым. Большой зал, ряды братьев и сестёр в серых одеждах. Старший судья, голос которого не дрожал: «Исповедница Эйрин. Ты говоришь, что слышишь то, чего не существует. Орден не наказывает за слабость ума. Но ты не слаба — ты слушала. И то, что ты слушала, услышало тебя». И приговор: изгнание. Не казнь — казнь была бы милостью и уликой. Её отправили на восток, за Гривы, туда, откуда не возвращаются.

Двадцать лет. Она строила там жизнь из подручного материала: лечила, отпевала, молчала. Голоса отступили. Она почти поверила, что всё кончилось. А потом по восточным дорогам пополз слух — странное слово, шёпотом, как переносят огонь: свет померк. Хранители пали. Вернхолл пал.

И она пошла назад, пересекая земли, которые не узнавала, — по дорогам, где спрессованный пепел лежал слоем не меньше пяди.

Эйрин присела на корточки и протянула руку к камню. Пальцы коснулись поверхности — и мир исчез.

Не стало ни ямы, ни руин, ни серого полуденного света. Она стояла в зале, полном света — тёплого, золотого, как мед и осень. Свет лился извысь, из высоких окон, которых она никогда не видела. В центре зала стоял трон. Он был простым — без драгоценностей, без подлокотников, будто сделан для усталого путника. И на троне сидела она сама.

Она узнала себя мгновенно — так узнают себя в плохо вытертом зеркале. Та Эйрин была старше — седина, которая ещё не тронула виски нынешней. Доспехи на ней были лёгкие, продуманные, с выгравированными на наплечниках переплетёнными линиями, и линии эти пульсировали — слабо, ритмично, как кровь под кожей. На голове — не королевский венец, а тонкий обруч из того же света, из которого был сделан весь зал.

Та Эйрин смотрела на неё. Не сквозь — прямо. И губы её шевельнулись. Эйрин не услышала слов — она услышала только их вес, как слышат звук колокола через толстую воду.

Видение исчезло так же внезапно, как пришло.

Эйрин стояла на коленях в яме под рухнувшей башней, сжимая камень в кулаке. Пальцы дрожали. На коже остался тонкий слой пепла — слишком тёплый для мёртвого пепла, будто он тоже что-то помнил.

«Ты помнишь?» — прошептал голос. Не из камня и не из воздуха — изнутри, из той части, где у человека живут невысказанные слова.

— Нет, — ответила Эйрин вслух, хотя рядом никого не было.

«Тогда начни с этого», — сказал голос. И камень снова стал просто камнем.

Эйрин сидела в пыли долго. Потом поднялась, отряхнула плащ и вложила камень в кожаный мешочек, который вечно носила на поясе пустым — двадцать лет она не знала зачем. Теперь знала.

Поднимаясь из ямы, она заметила на последней ступени то, чего не видела раньше: след. Не звериный, не человеческий — оттиск подошвы, гладкий, будто продавленный в камне печатком. Он был старым. Но не настолько старым, как всё остальное здесь.

Кто-то стоял на этой ступени и ждал, пока она придёт.

Эйрин посмотрела наверх, на блёклое небо над руинами Вернхолла. Ворона всё ещё сидела на столбе. Теперь их было две.

Глава 2. Шёпот в пустой комнате

Ночь пришла быстро, как всегда в этих землях. Эйрин выбрала нишу между двумя обрушившимися стенами — место, защищённое с трёх сторон и с видом на единственный подход. Костра она не разжигала. Огонь здесь был роскошью для тех, кто не боялся быть найденным; она не относилась к таким.

Камень лежал рядом, в раскрытом мешочке. Холодный, молчаливый, честный, как речная галька. Эйрин ела сухари, размачивая их в фляге, и старалась не думать. Не думать не получалось.

Сначала пришло не воспоминание, а недоумение: почему она не видела этого раньше. Она сидела в нише, подсунув под спину дорожный свёрток, и вдруг поняла, что за все двадцать лет изгнания не спала так — с открытым лицом, без стен, без запертой двери, без привычки просыпаться на каждый шорох. Здесь она спала открыто, потому что здесь всё равно некуда было бежать. Странное спокойствие. Как будто земля вокруг приняла её обратно — или делала вид, что принимает, до поры.

Стоило ей закрыть глаза — камень заговорил.

На этот раз не видениями. Словами. Короткими, рублеными, будто каждое стоило ему усилия, как будто он разговаривал через многослойную ткань и должен был кричать, чтобы его расслышали, — но кричать он не мог, и выходили одни удары.

«Они стирают нас».

Эйрин открыла глаза. Ниша была тёмной, только небо над обломком стены держало слабую звёздную зелень.

— Кто? — спросила она. Она знала ответ, но хотела услышать, как камень скажет его сам. В этом была вся её старая ремесленная привычка исповедницы: не подсказывать, не вести, дать сказать.

«Те, кто охраняет свет. Они не дают никому вернуть его. Они стирают тех, кто пытается».

— Как стёрли меня, — сказала Эйрин. Это не был вопрос. Она произнесла это вслух впервые, и слова вышли тяжелее, чем она ожидала, — как будто поднимала их не из горла, а со дна.

Пауза. Камень будто взвешивал, сколько правды она способна унести в одной ночи.

«Тебя — первой».

— Почему первой?

«Потому что ты была ближе всех. И потому что ты не сдашься. Они боялись не того, что ты соберёшь свет. Они боялись, что ты вспомнишь».

Эйрин смотрела в темноту. Воспоминания приходили не картинками — запахами и звуками, как бывает с самыми ранними детскими: запах воска в зале суда, скрип пера, которым писали приговор, холод камеры, в которой её держали перед дорогой на восток. Голоса судей она помнила дословно. Своё имя — она услышала его тогда впервые как чужое: «Исповедница Эйрин, ты изгнана». И вот теперь камень говорил с ней тем же тоном, каким говорил старший судья, — но говорил не приговор.

Она перебирала лица. Мадлен, наставница, — та, кто учила её слушать тишину и отличать в ней настоящие голоса от рождённых голодом и страхом. Брат Севьер, который в последний вечер перед судом принёс ей воды и не посмотрел в глаза. Братья и сёстры, которые молчали, пока читали приговор, — молчали так, как молчат обманутые: не из веры, а из страха узнать, что верить было не во что. Она перебирала лица — и не могла найти ни одного, которого не было бы. Все лица были на месте. У неё отняли не прошлое. У неё отняли то, что было дальше прошлого, — и именно поэтому она не могла даже понять, чего ей не хватает.

— Что я должна вспомнить? — спросила она.

«Начало. То, что было до всех нас».

— Всех нас?

Камень молчал. Потом — короткий, почти стональный импульс:

«Спи. Утром будут следы. Не теряй времени на страх — страх стирают первым».

Эйрин не спала, конечно. Она лежала и слушала, как остывает земля, как ветер перебирает обломки и листы забытых хроник, как где-то далеко, за Гривами, стоит и ждёт то, что некогда называлось светом. Ночью ей снилась вода — чёрная, спокойная, без единого круга на поверхности. Она стояла на берегу и знала, что в этой воде лежит что-то важное, что-то её, но войти не решалась. Она проснулась до рассвета с мокрыми ладонями и первым за много лет ощущением, что сон был не пустяком, а письмом.

Утром следы были.

Она нашла их у сломанной южной арки — три дорожки, ведущие от восточного склона через двор и исчезающие в сторону колодца. Не звериные, не человеческие. Оттиски гладкие, без узора подошвы, как будто ступали не сапоги, а сама тишина. По обочинам дорожек воздух был чуть плотнее — заметить это могла только она, да, пожалуй, и ни одна птица не заметила бы: лёгкая рябь, как над раскалённым летом камнем, только холодная.

Стражи. Те, кто служил ордену. Она не видела их никогда — только слышала о них на исповедях, вполголоса, как говорят о вещах, в которые не принято верить вслух: «Есть у Хранителей те, кто ходит без тени». Теперь орден пал — но стражи, похоже, ходили всё так же. И шли за ней.

Она пересчитала дорожки ещё раз. Три. Но рябь на обочинах была двоенная, будто каждый страж нес в себе второго, неродившегося. Эйрин постаралась не думать, что это значит. Это значило ровно одно: счёт вела не она.

Эйрин присела у дорожек, провела пальцами над рябью. Камень в мешочке потеплел — заметно, ощутимо, как фляга с водой, поднятая из-под камней.

— Ты чувствуешь их, — сказала она камню.

«Они чувствуют меня. Это одно и то же».

— Тогда я должна уйти отсюда до заката.

«Нет, — сказал камень. — Ты должна уйти сейчас. И не по дороге на юг. Юг — это там, где они будут тебя искать. Иди на север, вдоль русла. Там вода мёртвая, и они не любят мёртвую воду».

Эйрин поднялась, поправила пояс, застегнула мешочек. В последний раз оглядела двор Вернхолла — и поняла, что за всё утро ни разу не вспомнила, как выглядела, когда здесь жила. Голова подбиралась к памяти, как подбирается вода к трещине в фундаменте, — медленно, тихо, неизбежно.

— Хорошо, — сказала она камню. — Север. Но если твои советы погубят меня, я выброшу тебя в первую же реку.

Камень не ответил. Но ей показалось — впервые за двадцать лет, — что где-то внутри неё кто-то усмехнулся.

Глава 3. Цена молчания

Стражи появились на рассвете — раньше, чем она рассчитывала, раньше, чем имели право.

Их было трое. Они не шли — они появлялись: сначала рябь воздуха на опушке, потом очертания, потом тяжесть. Высокие, узкие, в серых одеждах без знаков и без лиц — точнее, лица у них были, но такие, что взгляд соскальзывал с них, как с мокрого камня. Они не говорили. Они двигались так, будто сами были тенями, оторвавшимися от стен, и стены им подчинялись.

Эйрин знала, что бежать бесполезно: в этих руинах каждый камень был их союзником. И всё же она не побежала — потому что сердце подсказало то, чего не подсказала голова: бежать — значит подтвердить, что у тебя есть что терять. А им больше нечего было у неё отнимать.

Она встала спиной к обломку стены — так, чтобы никто не зашёл ей за спину, — и положила ладонь на рукоять меча. Камень в мешочке нагревался с каждой секундой, и тепло это было не уютом, а сбором: как перед грозой собираются тучи, так перед ударом собирается сила.

Первый удар пришёлся по стене рядом с её головой — не в неё, мимо, и в этом мимо было что-то осознанное, почти вежливое: предупреждение. Клинок стража прошёл сквозь камень, как сквозь воду, и стена с гулким вздохом рассыпалась в пыль. Пыль на мгновение зависла в воздухе — и в этой пыли Эйрин увидела лицо. Не своё. Лицо, которое она не узнавала, но которое казалось странно знакомым: тонкое, осунувшееся, с глазами, полными не страха — обиды. Обиды, прожжённой до дна, как горшок, который слишком долго держали над огнём.

Она узнала бы это лицо и завтра, и через год. Она не знала, почему.

Второй страж атаковал в то же мгновение. Эйрин парировала — она не помнила, когда успела выхватить меч, руки двигались сами, и это пугало больше, чем враги. Сила камня текла по её руке, делая клинок тяжелее и острее одновременно: тяжелее — чтобы удерживать, острее — чтобы не пришлось долго. Так орудие, которое умеет только убивать, избавляет тебя от выбора.

Удар, отскок, ещё удар. Стражи не дышали, не покрикивали, не оступались — они работали, как работают жернова: тяжело, размеренно, не зная усталости, потому что усталость придумана для тех, кто хочет жить. Эйрин отступала — шаг, ещё шаг — и с каждым шагом чувствовала, как камень вкладывает в её руки чужую выучку: стойку, которой её не учили, замах, которого она не знала, короткий безжалостный выпад в бедро, подворот, скользящий блок. Это было её ремесло. Это была её школа. Только школа была не здесь и не теперь — и ей за неё не платили.

Третий страж подошёл слишком близко. Его меч замер в пяди от её груди — Эйрин успела увидеть, что на лезвии нет ни капли крови, ни царапины, хотя оно уже раз пятнадцать прошло сквозь чужие и собственные удары.

— Почему ты не сдаёшься? — впервые заговорил страж. Голос был похож на скрип старых дверей, которые открылись впервые за сто лет.

— Потому что я помню, — ответила Эйрин, хотя сама не знала, что именно помнит.

— Ты ничего не помнишь, — сказал страж.

И в этот миг камень в мешочке вспыхнул — тускло, грязно, как уголь под слоем золы. Эйрин увидела видение — короткое, как удар ножа: своё собственное лицо, искажённое криком; светлую стену; и слова, написанные на стене кровью — не краской, не светом, настоящей кровью, ещё не высохшей: «Я не забуду».

Под словами виднелась приписка — мелкая, торопливая, будто написанная в последний миг: «Они приходят за той, что помнит. Прячь память в том, что они не ищут».

Видение пропало. Страж отшатнулся — резко, всем телом, будто обожжённый. Серые одежды его на секунду потеряли очертания: сквозь них просвечивало что-то — не тело, а пустота, аккуратная, опрятная, как склеп.

Эйрин воспользовалась моментом. Первый удар — в локоть, второй — в колено, третий — туда, где у живого человека живёт дыхание. Тени рассыпались в пепел — бесшумно, без крика, без сопротивления, будто только этого и ждали. Пепел лёг на камни ровным слоем, и ветер — обычный, равнодушный ветер — тут же подхватил его и унёс прочь, не оставив даже шрама.

Стало тихо.

Эйрин стояла посреди двора, опустив меч, и слушала собственное дыхание. Оно было ровным. Это её испугало сильнее всего: двадцать лет она не держала в руках меч, и вот она стоит после боя — спокойно, будто делала это вчера. Или сегодня утром. Или каждый день все эти двадцать лет — где-то там, в стёртой памяти, в жизнях, которые у неё отняли.

Она села на землю, у подножия сломанной стены, и достала камень. Он был тёплым. Не раскалённым, не пульсирующим — просто тёплым, как рука живого человека.

— Сколько ещё раз мне придётся сражаться, чтобы вспомнить? — прошептала Эйрин.

Камень молчал. Но в тишине руин ей показалось, что она услышала ответ — не звуком, а чистым смыслом, как иногда слышно смысл сна уже на пороге пробуждения:

«До тех пор, пока не останется ничего, кроме правды».

— Тогда скажи мне правду, — сказала она. — Кто я?

Камень замолчал надолго. Слишком надолго. Так молчит человек, который знает ответ, но знает и цену.

И когда Эйрин уже открыла рот, чтобы повторить вопрос, с гребня холма — там, где две вороны сидели ещё вчера, — донёсся звук, которого в этих землях не могло быть по определению: скрип стрелы, взводимой на тетиву.

— Не двигайся, — произнёс голос — хриплый, старческий, человеческий до последней буквы. — И не говори с камнем. Они слышат камни.

На гребне стоял старик. Дорожный плащ, перекрещенные ремни, тяжёлый самострел, направленный не в неё, а мимо — в ту сторону, где рассыпался пепел стражей. Лицо — в морщинах, как кора старого дерева, но глаза — молодые и очень, очень усталые.

Он спустился с гребня неспешно, как спускаются люди, которые много раз делали это на глазах у чужой смерти. Подошёл к пеплу на том месте, где час назад стояли стражи, — потёр пальцы, поднёс к носу, поморщился.

— Свежие, — сказал он. — Значит, орден ещё держит своих, даже когда ордена нет.

— Кто ты? — спросила Эйрин, не поднимая меча, но и не убирая его.

— Корвен. Когда-то — смотритель переправы на Мёртвом русле. Теперь — то, что осталось. — Он посмотрел на неё поверх плеча, спокойно и очень внимательно. — А ты — та, о которой поют в низинах. Та, что возвращается. Сколько раз ты возвращалась, Эйрин Сумеречная?

Эйрин медленно поднялась, не отводя взгляда.

— Один, — сказала она. — Впервые.

Старик опустил самострел. Лицо его при этом не смягчилось — напротив, стало суше, строже, страшнее.

— В том-то и беда, — сказал он. — Ты говорила это слово уже четырнадцать раз. И четырнадцать раз это была правда.

Глава 4. Болота, где тонут слова

Они вышли из Вернхолла до того, как рассвет успел стать утром. Корвен шёл первым — без карты, без фонаря, с посохом, о который опирался не от усталости, а по привычке. Внизу, за грядой холмов, начинались низины: чёрная вода, тростник до горизонта и небо цвета остывшего металла.

— Мёртвое русло, — сказал он, не оборачиваясь. — Река ушла отсюда давно. Осталась только память о воде.

— А куда она ушла? — спросила Эйрин.

— Вниз, — сказал Корвен. — Вода всегда уходит вниз. Проблема не в том, куда она ушла. Проблема в том, что она запомнила дорогу.

Эйрин шла следом и чувствовала, как меняется земля. Камни Вернхолла остались позади; почва стала мягкой, тягучей, будто шаги тонули в ней вместе со звуком. Даже ветер здесь двигался иначе: не свистел в тростнике, а просачивался сквозь него, как вода сквозь песок.

— Почему болота? — спросила она наконец. — Если стражи ищут нас, разумнее уйти в горы. Или к людям.

— В горах стражи читают следы. В городах орден слышит каждое слово за сутки. А здесь, — Корвен повёл рукой в сторону трясины, — здесь тонут не только путники. Здесь тонут слова. Их не услышат, даже если кричать во всю грудь.

Он сказал это без улыбки, и Эйрин поняла: это не образ, а правило этих земель.

К полудню трясина стала глубже. Тропа вилась над водой — узкая насыпь из спрессованного ила, которую держали корни старых ив. Деревья стояли по колено в чёрной воде, голые, осыпавшиеся, но живые: Эйрин видела, как под корой медленно движется что-то тёмное, будто дерево дышит. Корвен касался стволов ладонью, проходя мимо, и дрожь в коре утихала.

— Они слышат, — пояснил он. — Ивы здесь выросли на слухе. Не срывай коры, не роняй железа. И главное — не разговаривай, когда стемнеет.

— Почему?

— Потому что в темноте отвечают не люди.

Она хотела спросить ещё, но посмотрела на воду и передумала. В воде, между корнями, лежало что-то бледное и округлое. Сначала Эйрин приняла это за камни. Потом один из «камней» медленно повернулся — и стал лицом.

— Не смотри, — сказал Корвен, не оборачиваясь. — Те, кто утонул здесь без сна, остаются на дне и ждут. Они не опасны. Опасно то, что они напевают. Ты уснёшь у воды — и будешь спать так глубоко, что не услышишь, как тебя зовут.

— Кто зовёт?

— Тот, кто разбудит, — сказал Корвен. — Или не разбудит.

Часа через два тропа оборвалась. Впереди, насколько хватало глаз, лежала открытая вода, и идти было не по чему. Корвен стоял на краю насыпи и слушал — как слушают не шум, а тишину.

— Придётся обходить, — сказал он наконец. — Хуже того — обходить вслепую. Здесь легко потерять направление: вода со всех сторон одинаковая. Поэтому делай так, как я. Смотри не на воду — на ивы. Они растут там, где дно твёрдое. Куда наклоняются кроны — туда поворот. Ива никогда не наклонится над пустотой.

— А если наклонится?

— Значит, под ней не пустота, — сказал Корвен. — И это хуже.

Они шли по пояс в холодной воде ещё час. Эйрин дважды оступалась, дважды чувствовала под ногой что-то мягкое, но вовремя вспоминала совет не смотреть. Солнце здесь было

бесформенным пятном за пеленой — от него не оставалось тени, и потому не было ни времени, ни направления. Только ивы, только трясина, только глухая вода, которая не плескалась даже под ногами.

К ночи тропа привела их к острову — холму среди воды, обнесённому частоколом из кольев. На кольях висели маленькие свёртки: пучки тростника, лоскуты ткани, связки косточек. На середине острова стояла хижина на сваях, и в её окне горел огонь — единственное тёплое пятно на весь горизонт.

Хозяйка открыла, не спросив, кто пришёл. Старуха с волосами цвета сухого тростника и глазами, выцветшими почти до белизны. Она посмотрела на Эйрин так, будто узнавала её, — и от того, как смотрела, Эйрин стало не по себе.

— Ула, — сказала старуха. — Меня зовут Ула. Заходите. Спать будем по очереди.

В хижине пахло сушёными травами и чем-то ещё — тонко, сладко, невыносимо знакомо. Эйрин не сразу поняла, что это: запах, от которого защемило в груди. Запах чего-то, чего она не могла вспомнить.

— Сны, — Ула заметила её взгляд на полках, уставленных глиняными кувшинами. — Я торгую снами. Или меняю на еду, кому как удобней. Тут, на болотах, свои законы. Туман питается снами, путница: уснёшь на открытом месте — проснёшься пустой. Сначала уйдёт то, что тебе снилось недавно. Потом — то, что снилось в детстве. Потом и сами сны, и желание спать. Люди это зовут «осушенными». Такие ходят по топям, пока не утонут, — и не потому, что заблудились, а потому, что забыли, зачем шли.

— А ты? — спросила Эйрин. — Ты не боишься?

— Я торгую тем, что собираю, — Ула усмехнулась беззубым ртом. — Старьё он не ест.

— Сны можно купить? — Эйрин смотрела на кувшины. — У кого?

— У спящих, — сказала Ула. — Я хожу по топям в третий час ночи, когда туман стоит стеной, и срезаю то, что от него отваливается. За месяц наберётся на кувшин. За зиму — на два. А весной приходят торговцы с севера и выменивают сны на соль и ткань. Бедные люди на севере, путница. Им нечего вспоминать, кроме того, что покупают. Ула опустила глаза. — Иногда я думаю: что страшнее — туман, который съедает сны, или северяне, которые их едят вместо ужина.

Они ужинали молча. Корвен сложил у порога посох, и Эйрин впервые заметила на нём зарубки — ровные, частые, сделанные одним и тем же лезвием. Она насчитала их тринадцать. Четырнадцатая была свежей.

— Что это? — спросила она тихо.

— Дороги, — сказал Корвен. — Каждая зарубка — дорога, которую мы уже прошли. Ты не поверишь, если я скажу остальное. Ты и так не верила — тринадцать раз.

Эйрин не спросила больше ничего. Не потому, что испугалась, — а потому, что знала: сейчас он не ответит.

Ула уложила её в дальнем углу, на лежанке из тростника, и, прежде чем уйти, присела рядом.

— Один совет, девочка, — прошептала она. — Камень твой, что бы ты с ним ни делала, оставь при себе. И не спи глубоко. Здесь дно неглубокое, а на дне вода помнит всех, кто в неё падал.

Эйрин уснула — и увидела чёрную воду. Не болото — реку, широкую, тяжёлую, без единой рябины. По ней медленно плыла лодка, и в лодке сидел кто-то в накидке, и накидка была цвета золы. Голос из детства — тёплый, тихий, родной — произнёс её имя. Не «Эйрин». Другое имя.

Она проснулась с колотящимся сердцем и первым делом потянулась к воспоминанию. К лицу матери. Оно не открывалось. Она перебирала в памяти годы, лица, комнаты — и везде, где было её детство, стояла ровная белая стена. Как выцветший узор. Как чистый лист.

— Ула, — сказала она утром, когда старуха разжигала очаг. — Ты сказала, что видела меня раньше. Сколько раз?

Ула не обернулась.

— Четыре, — ответила она. — И каждый раз ты задаёшь мне один и тот же вопрос. Только вопросом он не был. Это была просьба.

— Какая?

Старуха выпрямилась и стряхнула пепел с ладоней — и Эйрин вдруг поняла, что это не пепел, а мелкая пыльца снов, въевшаяся в кожу за годы торговли.

— Ты каждый раз просила меня: не забывай, — сказала Ула. — Я не забыла.

Камень в её котомке был тёплым.

Глава 5. Отражение, которое лжёт

Эйрин решила избавиться от камня на третий день болот.

Она не сказала об этом Корвену. Дождалась, пока он уйдёт к Уле за припасами, вынула камень из котомки и отнесла его к самой кромке трясины — туда, где вода была чёрной, как разлитая тушь. Она сжала его обеими руками, чувствуя тепло сквозь кожу, и произнесла вслух то, что давно бормотала про себя:

— Ты не мой. И я не твоя. Больше никакой памяти. Больше никакой цены.

Она разжала пальцы.

Камень ушёл в воду без всплеска. Чёрная гладь сомкнулась над ним — и тут же дрогнула. Эйрин шагнула назад и почувствовала, как между лопаток расползается холод: будто кто-то стоял у неё за спиной. Она не обернулась. Она знала, что там.

Вечером она открыла котомку — и камень лежал там, где лежал всегда. Сухой. Тёплый. Рядом с сухарями и запасным плащом.

Она просидела над этой мыслью до полуночи. Сухой. Он упал в болото, где утопленные не всплывают даже через сотню лет, — и вышел сухим. Значит, вода его не приняла. Значит, камень не тонет нигде, потому что у него уже есть место, которое его держит. Эйрин не позволила себе договорить мысль до конца. Договорить — значило бы согласиться.

На второй день она попыталась снова. Отдала камень Уле — старуха согласилась без вопросов, завернула его в тростниковую ткань, опустила в глиняный кувшин к сушёным снам, запечатала воском и унесла в глубь острова. Ночью Эйрин лежала без сна, слушая, как шумит за окном тростник, и в какой-то момент поняла, что шум этот идёт не от ветра. Он был слишком размеренным. Это был шёпот.

Она поднялась. Корвен спал, не шевелясь, — или сделал вид. На полу, у самой лежанки, стоял кувшин. Воск был сломан. Из кувшина, как дым из погасшей свечи, поднималась струйка тумана, и в этой струйке медленно вращался камень — неторопливо, как вещь, которой нигде не торопятся.

К утру туман осел, камень вернулся на своё место в котомку, а Ула с утра не выходила из хижины. Только к полудню Эйрин услышала её голос — не к ней, а, кажется, к деревьям:

— Я же говорила ей: не ходи туда. Но она всегда идёт. Всегда.

Корвен, услышав, поднял глаза от посоха.

— Она знает? — спросила Эйрин.

— Она знает больше меня, — сказал Корвен. — И молчит об этом дольше.

На четвёртый день, на рассвете, Эйрин пошла к воде. Не за тем, чтобы сбросить камень, — это она уже поняла: камень не оставит её, потому что её уже выбрали. Она пошла посмотреть. Плыть по чёрной воде было нечем — но лицо отражалось в ней, как в тёмном стекле.

Сначала это было её лицо. Так она и подумала: моё. Усталое, обветренное, с той же царапиной на скуле, что она носила с двенадцати лет.

А потом отражение улыбнулось.

Эйрин стояла неподвижно. Отражение улыбалось так, как она сама не улыбалась давно: мягко, уверенно, будто ему было хорошо. И голосом — её голосом, только тише, ласковее — сказало:

— Ты опять пытаешься. И опять не получается. Смотри, как просто: положи меня на воду и отойди. Я всё верну. Мать. Дом. Имя, которое у тебя отняли. Всё, до последнего тёплого воспоминания. Тебе нужно только отойти на шаг.

— Ты лжёшь, — сказала Эйрин вслух.

— Я никогда не лгу о том, что могу дать, — ответило отражение. — Я лгу только о цене. Но цену тебе всё равно не поверят: ты её уже платила. Тринадцать раз.

— Какую цену? — Эйрин сама не заметила, что шагнула к воде.

— Разве ты не заметила? — отражение говорило медленно, наслаждаясь. — Мать. У тебя была мать. У тебя было детство, в котором было больше, чем четыре стены и страх. Ты помнишь имя первой девочки, с которой играла? Нет? А ведь когда-то помнила. Каждый кусок, что я отдаю, — это кусок тебя. И однажды, Эйрин, ты будешь стоять перед последней дверью, а за ней будет то, ради чего всё это начиналось, — и ты не вспомнишь, зачем тебе это было нужно.

— Тогда зачем мне это? — спросила Эйрин. — Если в конце я не вспомню?

Отражение помолчало. Впервые за разговор в его голосе появилось что-то похожее на уважение.

— Хороший вопрос, — сказало оно. — На него ты ответишь в самом конце. Как и мы все.

Вода дрогнула, и в отражении рядом с её лицом проступило второе — не её. Лицо, изъеденное временем, без глаз, но с той же царапиной на скуле. Оно смотрело на неё из-под воды, как из-под льда.

— Каждая из нас, — продолжило отражение её голосом, — когда-то стояла здесь. И каждая начинала с того же: с желания вернуть то, что отняли. Все мы прошли этот путь. И все мы остались здесь — в камне, в воде, в трещине между мирами. Я — четырнадцатая. Ты — пятнадцатая. И мне всё равно, чем ты закончишь. Мне уже всё равно.

Эйрин отступила. Вода зашуршала, и отражение исчезло — как исчезают следы на песке под прибывающей водой: не сразу, но безвозвратно.

За её спиной, на тропе, стоял Корвен. Он смотрел на воду, и в глазах его не было ни страха, ни удивления — только усталость человека, который смотрит на эту воду в четырнадцатый раз.

— Ты слышала, — сказал он. Не спросил.

— Она сказала, что лжёт о цене.

— Она сказала правду, — ответил Корвен. — Она лжёт только о цене. Всё остальное — правда. Поэтому её так сложно отвергнуть: грубую ложь бросают сразу. А эта — вежливая. Она звучит как твоё собственное желание.

Эйрин сжала кулаки. Камень в котомке отозвался теплом — так отзывается сытый зверь.

— Что это было за лицо под водой? — спросила она. — Без глаз.

Корвен долго молчал. Потом сказал:

— Первая. Та, что пыталась раньше всех. Она была здесь до того, как орден решил охранять свет от претендентов. Она была здесь до того, как свет померк. Она стояла у истока — и то, что она видела тогда, орден не забудет, пока сам стоит.

— И где она теперь?

— В камне, — сказал Корвен. — Как все мы.

— А ты? — Эйрин повернулась к нему. — Ты тоже в камне? Ты тоже был когда-то претендентом?

Корвен не ответил. Он снял с посоха старую тряпицу, протёр зарубки — все четырнадцать — и снова укутал древко, будто пряча их от чужого взгляда. И только у порога, уже в темноте, произнёс:

— Я был не претендентом. Я был тем, кто стирал. Спи, Эйрин. Завтра долгий переход.

Вечером, укладывая её спать, Ула задержалась у лежанки. Она долго молчала, потом достала из-за пояса маленький костяной нож и, не глядя на Эйрин, провела им по стене — короткую, ровную зарубку рядом с четырьмя старыми.

— Что это? — спросила Эйрин.

— Счёт, — сказала Ула. — Мой счёт к тебе, девочка. Орден платит мне за то, чтобы я возвращала камень и смотрела. В прошлые разы я смотрела. В этот раз я всё ещё решаю, смотреть или нет. Спи. И не забывай.

— Я не забыла, — сказала Эйрин.
— Не ты, — покачала головой Ула. — Я. Я прошу тебя: не дай мне забыть.

Глава 6. Мост над беззвучной рекой

Они покинули остров Улы на пятый день — потому что к вечеру со стороны дальних холмов донёсся звук, которого на болотах быть не могло. Барабан. Медленный, тяжёлый, ровный, как сердце великана.

— Стражи, — сказал Корвен, и в его голосе не было страха — только деловитость человека, который уже собирал котомку при таком же звуке тринадцать раз. — Они идут с запада. Восточнее болот — река. Река одна.

— И что дальше?

— Дальше — мост. Единственный, что остался. И свита, которая его охраняет.

Ула проводила их до края острова и, задержав Эйрин за локоть, вложила ей в ладонь маленький глиняный кувшин, запечатанный воском.

— Это твой сон, — сказала она тихо. — Тот, что снился тебе первую ночь. Туман его не достал — я срезала раньше. Когда дойдёшь до Кёргейла и решишь, что пора вспоминать всё, — разбей воск. И не раньше. Если разобьёшь здесь, туман вытянет его из тебя, как питьё из глотки.

— Почему не раньше? — спросила Эйрин.

— Потому что здесь, — Ула кивнула на трясину, — ты уснёшь, а проснёшься не ты.

До реки они шли почти сутки, не останавливаясь. Тростник кончился; за ним открылась широкая долина, и по дну её тянулась река — широкая, тяжёлая, без единой рябины. Она была так тиха, что казалась не водой, а чёрным стеклом, положенным на камень. По ней не кружило ничто: ни листья, ни пыль. Она не принимала ничего.

— Беззвучная, — сказал Корвен. — Её течение не звучит. И не потому, что тихо. А потому, что звук, который она поглотила, не возвращается. Брось в неё камень — не услышишь всплеска. Крикни с одного берега — на другом не расслышат. Она берёт всё, что падает в неё, вместе со звуком этого падения.

Эйрин посмотрела на чёрную гладь и вспомнила сон на Улиной лежанке: такую же воду. Лодку в накидке цвета золы. Голос, произнёсший её имя — не «Эйрин», а другое.

— Она помнит всех, кто в неё падал, — сказала она. — Ула говорила.

— Ула говорила про болота. Река — не болото, — Корвен остановился. — Хотя, возможно, они говорят об одном и том же.

Он подобрал с земли камень и взвесил его на ладони.

— Хочешь проверить? — спросил он. — Я кидал. Тринадцать раз, за тринадцать дорог. Камень уходит под воду — и не звука. И не круга. Вода даже не замечает, что в неё что-то упало.

— И всё же люди переходили её вплавь?

— Люди тонули, — сказал Корвен. — Тихо. Река их не заметила. Я уже говорил: она берёт всё, что падает, вместе со звуком этого падения. Проблема в том, что звук падения — это иногда последний, что остаётся от человека. Река забирает его — и человек исчезает весь.

Мост открылся перед ними за поворотом русла: чёрные устои, пролёт из тёсаного камня, покрытого той же золой, что и руины Вернхолла. Половина пролёта рухнула в воду много лет назад — камни её так и не всплыли. Оставшаяся половина держалась, как держатся старые клятвы: не потому, что крепка, а потому, что забыла, как ломаться.

На середине моста стояли всадники.

Их было девять — Эйрин сосчитала раньше, чем понять, что считать уже поздно. Они не двигались. Коней под ними не было: то, что она приняла за лошадей, было тенью, обёрнутой вокруг всадника, как плащ. У всадников не было лиц — там, где полагалось быть лицу, была гладкая тёмная поверхность, как у воды ночью.

— Свита Полых, — произнёс Корвен ровно. — Они не служат ордену. Они служат реке. Река собирает всё, что падает в неё, вместе со звуком падения, — а свита собирает всё, что пытается перебраться через неё на другой берег. И привязывает собранное к мосту. Навсегда.

— А если просто пройти?

— Никто не проходил, — сказал Корвен. — Тринадцать раз мы пытались. Тринадцать раз я видел, как они забирают тебя, Эйрин. И тринадцать раз ты возвращалась — в следующий раз, с другого берега.

— Значит, есть и другой берег? — голос её дрогнул.

— Значит, есть другая ты, — сказал Корвен. — Которая прошла. И те, что стоят на мосту, — из этих тринадцати. Из оставшихся на мосту. Но их не девять, Эйрин. Я насчитал девять. А должно быть тринадцать.

— А где остальные четыре?

— В реке, — сказал Корвен. — Или в тебе. Это, если честно, одно и то же.

Эйрин шагнула на мост.

Камень под ногой отозвался глухо — так отзывается старая кость. Она сделала второй шаг, третий — и на четвёртом свита сдвинулась. Тени двинулись вместе со всадниками, и в этом движении не было ни звука. Никто не окликнул, никто не выкрикнул угрозы. Просто пространство между Эйрин и дальним берегом начало сокращаться — и не благодаря её шагам.

Первый всадник оказался рядом раньше, чем она успела поднять клинок. Тень вокруг него вспыхнула — не светом, а отсутствием света, вырезом в мире — и Эйрин отшатнулась. Клинок отбил удар, но она поняла: второй он не отобьёт. Эти всадники не били в тело. Они били в память. Удар одного — и она забудет дорогу на этот мост. Удар второго — забудет, зачем пришла. Удар третьего — забудет, что её зовут Эйрин.

Она не знала, откуда это знает. Знала — и всё.

Камень в котомке запылал. Не светом — теплом, яростным, отчаянным, как горит письмо, которое ты жжёшь и жалеешь об этом. И вместе с теплом пришли воспоминания — не её, но такие яркие, будто они были её всю жизнь: школа боя, которой она не проходила. Рука, которая держит клинок не как оружие, а как продолжение запястья. Движение, которому не учат, — но которое тело помнит, будто делало его тысячу раз.

Эйрин подняла клинок — и вместе с этим движением сквозь него прошло что-то, чему нет названия. Первый всадник осел на месте. Тень, обёрнутая вокруг него, растеклась по камням моста, как чернила. Он рассыпался — не в пепел, как стражи Вернхолла, — в мелкую лёгкую пыль, которую река подняла вверх вместе с последним звуком.

Она не заметила, как кончилась схватка. Клинок был мокрым от чего-то невидимого. Вокруг неё никого не осталось: свита рассыпалась, как пепел от костра под порывом ветра. Мост был пуст.

Последний всадник — тот, что стоял дальше всех, у края пролёта, — не рассыпался. Он поднялся с земли, куда его сбросило тем же неучимым движением, и медленно потянулся к шлему.

— Не смотри, — сказал Корвен за её спиной.

Она посмотрела.

Под шлемом не было ничего. Было лицо. Её лицо — такое же, как в отражении на воде, только без улыбки, без ласки, без уверенности. Серое, обветренное. Губы двигались:

— Возвращайся, Эйрин, — сказали они. — Мы тебя ждём. Мы всегда тебя ждём.

Всадник рассыпался прежде, чем она успела ответить. И река приняла его — вместе со звуком, которого не было.

Эйрин стояла на середине моста и чувствовала, как пустеет. Она пыталась вспомнить лицо Улы — старухи, которая торговала снами и просила её не забывать. Оно не открывалось. Она перебирала в памяти последние дни — и везде, где была Ула, стояла ровная белая стена.

Даже подарок — глиняный кувшин, запечатанный воском, — она нашла в котомке, не помня, как он там оказался и что он такое. Только голос старухи ещё держался где-то на самом дне: «Не дай мне забыть». Она не понимала, чья это была просьба — её или Улы.

— Цена, — сказала она вслух. — Она не лгала о цене.

— Она никогда не лжёт о цене, — сказал Корвен. — Но давай на другой берег, пока не догнали.

Он перешагнул через пепел последнего всадника и пошёл к дальнему устою. Эйрин последовала за ним. За спиной, на западном краю моста, что-то тяжёлое ступило на камень — раз, второй, третий. Барабан.

На восточном берегу начинались Ржавые пустоши. Красная земля, чёрные скалы и небо, которое даже на рассвете было не золотым, а тускло-серым, как остывший металл.

— Кёргейл, — сказал Корвен. — Земля, где орден держит свой последний архив. И где хранится ответ на твой вопрос, Эйрин: кто она — та, что без глаз.

Она оглянулась на мост. В тишине за спиной ей послышалось — на самом краю слуха, там, где тишина переходит в воображение, — как кто-то шепчет её имя. Не «Эйрин». Другое.

Камень в котомке был тёплым.

Глава 7. Пепел и сталь

Ржавые пустоши начинались так, будто кто-то провёл по земле черту и с той стороны не осталось ничего живого. Ветер дул с севера, принося рыжую пыль, которая оседала на губах и пахла старым железом. По правую руку тянулись остовы мельниц — огромные, скелетные, с оборванными лопастями. Когда-то они мололи зерно для города, которого больше не было на картах. Теперь они мололи только ветер, и от этого скрип стоял над пустошами непрерывно, как молитва, которую никто не слушает.

— Три дня до Кёргейла, — сказал Корвен, не оборачиваясь. — Если стражи идут от руин, они догонят нас к утру вторых суток.

— Ты снова уверен в их счёте, — заметила Эйрин.

— Я знаю, как орден ездит. — Он постучал посохом по земле, и под посохом что-то глухо отозвалось: под пылью лежали не камни, а металл. — Пустоши — старое поле боя. Здесь до сих пор зарыт весь их обоз.

К ночи второго дня ветер сменился, и вместе с ним сменился звук. Скрип мельниц остался позади, а впереди, в рыжей мгле, возникла новая тишина — та самая, плотная, из которой рождались стражи.

Их было семеро. Серые плащи, серые лица, серые руки, и только у ведущего на плечах горела маленькая медная печать — круг с вертикальной чертой. Маску капеллана Эйрин видела раньше, на суде, двадцать лет назад: гладкая тёмная медь, без прорезей для глаз, и голос, который звучал не изо рта, а словно из глубокого колодца, куда долго падали камни.

— Пятнадцатая, — сказал капеллан.

Он не кричал, не приказывал. Он произносил её так, как произносят привычную строку в заученном тексте.

— Орден предлагает тебе то же, что и в прошлый раз. Войди в круг. Отдай камень. Мы сохраним тебе имя.

— В прошлый раз вы сохранили мне двадцать лет чужого берега, — ответила Эйрин.

— Это была милость. — Маска не поворачивалась, но Эйрин чувствовала, как медь «смотрит» на неё. — Ты умирала от голода у южного маяка. Мы подняли тебя. Мы дали тебе берег, лодку и чистую память. Тебе следовало остаться там.

Корвен тихо, одними губами: — Не соглашайся. И не бойся их. Они боятся боли, а не смерти.

Она не успела ответить. Стражи двинулись — не бегом, а той страшной, ровной походкой, при которой тени не отстают от ног, а отрываются и идут сами. Песок под их сапогами не хрустел; он лишь медленно, покорно оседал, будто просил пощады.

Эйрин вытащила клинок и поняла, что проигрывает ещё до первого удара. Трое шли на неё, четверо — по дуге, на Корвена, и дугу эту не пересечь. Между ней и капелланом было двадцать шагов чистой пыли, и все двадцать шагов принадлежали ему.

— Возьми, — сказал камень.

Не сквозь уши — изнутри, как будто в её груди кто-то повернул ключ.

— Возьми то, что я помню вместо тебя.

И память пришла.

Мост. Узкий, чёрный, над пропастью, из которой поднимался туман. Девушка в чужом доспехе, с чужой раной на левом боку, стоит против четверых и знает про каждого, где он ослабнет. Она не боится — она уже умерла однажды, и с тех пор боится только одного: снова стать собой. Учитель, который учил её, звался Дареном, и он говорил: «Ты не сражаешься своим телом. Ты сражаешься памятью всех, кто умер, держа меч правильно».

Эйрин шагнула вперёд — и шаг этот не был её шагом.

Первого стража она встретила подсечкой на полушаге раньше, чем он ожидал. Второго — поворотом клинка, которого не учат в живых школах: лезвие шло по внутренней стороне запястья, туда, где под серым плащом не было ни жил, ни мяса, а была только скрепка тени, и тень лопнула, выпустив наружу воздух, пахнущий пеплом. Третий замахнулся тяжело, честно, по-человечески — и она ушла под замах так низко, что плечо толкнуло её в колено, и удар капеллановой печати о пыль прозвучал как треснувший колокол.

Четвёртого она не видела. Она его помнила.

Мозг сопротивлялся. Это не её руки, кричало что-то внутри. Не её ноги. Не её уроки. Она гнала эту мысль вниз, как гонят воду из лодки, и с каждым ударом чужая память входила глубже, а её собственная — просачивалась куда-то наружу, как вода сквозь днище.

Стражи отступали. Капеллан стоял на месте, и медь его маски впервые повернулась — медленно, с усилием, как поворачивают голову очень старые люди.

— Девятая, — сказал он. Не ей. Камню. — Ты снова отдала ей руки.

— Она берёт сама, — сказал камень голосом Эйрин.

И тогда Эйрин поняла, что платит.

Плата не пришла болью. Она пришла как тихий, аккуратный разлив воды по сухому полу: беззвучно, поднимаясь медленно, и подниматься ей было некуда. Эйрин почувствовала, как из неё уходит звук. Не слух — звук. Она попыталась вспомнить собственное имя — не буквы, не то, как его пишут, а то, как оно звучит в её голосе, с её интонацией, когда она произносит его про себя перед сном.

Оно не звучало.

«Эйрин» осталось набором знаков, которые она знала, как знают таблицу. Слово, которое люди произносили, обращаясь к ней, отзывалось в ней как чужой стук в чужую дверь.

Бой кончился, потому что бой кончается: стражи рассыпались пылью, капеллан отступил на шаг, и пыль приняла его, как вода принимает камень, — нехотя, с задержкой, будто маска ещё мгновение держалась над поверхностью.

— В архиве тебе не помогут, — сказал он на прощание. Голос из колодца. — Там пишет не человек. И то, что пишет, не читают вслух.

Пыль сомкнулась. Ветер вернулся. Эйрин стояла посреди пустоши с клинком, который больше не был тяжёлым и не был острым, — просто железом, — и не могла вспомнить, как звучит её имя.

— Девятая платила тем же, — сказал Корвен. Он смотрел не на неё, а на землю, туда, где растаял капеллан. — Она отдала руки и вернулась с мечом, который звал её по имени. Ты отдала звук. — Он помолчал. — Ты хотя бы сохранила лицо. Это больше, чем удалось Второй.

— Сколько нас осталось? — спросила Эйрин. Голос её дрогнул на «нас».

— Насколько я знаю — до тебя дожили трое. И все трое не помнят, что они — они. — Корвен поднял на неё глаза, и впервые за все дни в них не было ни насмешки, ни усталости, только что-то очень старое и очень простое. — Орден называет это милосердием.

Они шли до темноты. Эйрин молчала и один раз, не сумев удержаться, шепнула в пыль своё имя — как пробуют замёрзшую воду языком. Звука не было. Но камень в её сумке потеплел.

— Я верну, — сказал он.

— Знаю, — сказала Эйрин. И впервые за двадцать лет ей не показалось, что она говорит с вещью.

Глава 8. Тени, что знают больше, чем люди

Гаснущие жили в старом шлюзе — там, где некогда перегораживали русло беззвучной реки, чтобы поднимать воду к оросительным каналам. Створки шлюза давно сгнили, но бетонные усы защиты торчали из берегов, как рёбра выброшенного на сушу зверя, и в тени между

ними, в ярусе с сухим песком, горели маленькие очаги. Не костры — плошки. Слишком много огня здесь означало бы, что о его существовании можно догадаться с большого расстояния.

Их встретили ещё на подходе. Эйрин заметила сперва не людей, а предметы: каждый носил на груди, на запястье, на шнурке у шеи что-то маленькое и чётко очерченное. Колокольчик без языка. Медная пуговица с короной, стёршейся до гладкости. Зеркальце в трещинах. Кости птицы, связанные красной нитью.

— Якоря, — объяснил Корвен. — Когда человек теряет память, он цепляется за то, что можно держать в руках. У ордена для этого латунь и свинец. У этих — всё, что осталось от их прошлых жизней.

— Откуда ты знаешь их обычаи?

— Потому что я их стирал, — сказал Корвен ровно. — Я знаю, что остаётся.

Эйрин хотела ответить — и не успела. Из-за бетонного уса вышла женщина. Старая, прямая, с посохом из сломанного весла и с книгой на ремне через плечо. Книга была старой, с мягкой кожей, потемневшей от прикосновений, и Эйрин успела заметить, что страницы в ней белые. Все. Ни одной строчки.

— Гостьи, — сказала женщина. Голос у неё был спокойный, как у человека, который давно перестал торопиться. — И лживый спутник.

— Мейра, — сказал Корвен.

— Ты знаешь моё имя.

— Я знаю много имён. Это профессия.

Женщина посмотрела на него так, как смотрят на старую рану, которая снова начала болеть, и повернулась к Эйрин:

— Мы называем себя Гаснущие. Не потому, что гаснем. Потому что у нас гаснут имена. Орден называет нас остатками. Мы называем орден молью. На этом и держится весь наш договор с миром.

Вокруг уже собирались люди. Эйрин считала: двадцать два. Разные, из разных земель — она узнала крой плащей южных рыбаков и меха с горных пастбищ. Одинаковых в них были только якоря и глаза. Глаза людей, которые живут с закрытой дверью внутри.

— Капеллан шёл за нами, — сказала Эйрин. — Отряд из семерых. Мы их рассыпали.

— Рассыпала — не значит убила, — сказала Мейра. — Сборщики собираются. Как вода. Ты это поймёшь к утру.

В этот момент из толпы вышел молодой человек с ножом. Не бросился — просто пошёл, ровно, опустив лезвие вниз, как несут ведро. Лицо у него было молодое и очень чистое — и абсолютно пустое.

— Лик-в-перчатках, — сказал он.

Корвен даже не дрогнул. Он стоял и смотрел на лезвие так, как смотрят на погоду.

— Ты стирал мою сестру, — сказал молодой человек. — В прошлом цикле. Я помню её. Я помню, как она звала меня, когда тебя привели в наш дом. Я помню всё, потому что мне нечего забыть — я не претендент. Я просто был рядом.

— Асель, — сказал Корвен.

Нож дрогнул.

— Не смей произносить это имя, пока рядом с тобой осколок! — крикнула из толпы старуха. — Ты стирал имена! Ты не смеешь их называть!

— Он прав, — неожиданно сказала Мейра.

Она положила руку на нож, опустила лезвие вниз, к земле.

— Асель. Он прав. — Она посмотрела на Корвена без жалости и без гнева. — Ты стирал. Но стиральщика не выбирают, его делают. С каждым стёртым твоя собственная память становится короче — так устроено ремесло. Ты заплатил за каждое имя частью себя. Я не прощаю тебя. Но я считаю твой долг.

Корвен медленно кивнул. И Эйрин увидела то, чего не видела ещё ни разу: его плечи опустились. Не от усталости. От освобождения, которое человеку стыдно признать.

— Я знаю проход под Кёргейлом, — сказала Мейра Эйрин. — Старый дренаж. Орден о нём забыл, потому что орден ничего не забывает намеренно, а это — забыли случайно. Я проведу тебя до входа. Взамен ты принесёшь мне одну вещь.

— Какую?

— В архиве есть список. Пятнадцать строк, пятнадцать циклов. Когда найдёшь его — прочти мне вслух. Не забудь, не перескажи, а прочти. Слова, произнесённые вслух, нельзя стереть из воздуха.

Эйрин кивнула. И только потом заметила, что Мейра смотрит не на неё, а на сумку, куда Эйрин положила кувшин Улы — тот, с восковой печатью.

— Откуда у тебя это? — тихо спросила старуха.

— Торговка снами на болотах. Сказала: разбить воск в Кёргейле и не раньше.

— Она сказала правду, и это хуже, чем если бы солгала. — Мейра взяла кувшин в руки и поворачивала его к свету плошки так бережно, как держат ребёнка. — Этот воск из капелланских мастерских. В Кёргейле воском запечатывают не сны. Им запечатывают приговоры. Всё, что орден решил о человеке, запечатывают в воск и прячут, пока не понадобится. Ула срезала это с трясины, где орден топил то, что хотел забыть.

— Значит, внутри не сон Улы.

— Внутри — то, что орден решил о тебе, — сказала Мейра. — Задолго до того, как ты родилась второй раз. Разбивать это надо там, где это сделано, и не раньше. Я не знаю почему. Так сказали те, кто знал больше. И все они, — она слабо улыбнулась, — умерли, узнав почему.

Ночью, когда плошки погасли и Гаснущие легли в своих ярусах, Эйрин не спала. Она смотрела на Мейру — та сидела у последней плошки и, как Эйрин уже поняла, каждую ночь записывала в свою пустую книгу чужие воспоминания. Это был обмен: Мейра запоминала истории других, чтобы собственные не выветрились окончательно, — и сама при этом ничего не записывала от себя, потому что нечего было записывать. Книга оставалась белой.

— Не вся, — сказала вдруг Мейра, не оборачиваясь. Она плохо видела в темноте, но хорошо слышала дыхание. — На первой странице есть запись. Я её не делала. Она была там, когда я нашла книгу в руинах академии, тридцать лет назад.

Эйрин поднялась, подошла. Мейра открыла книгу на первой странице и повернула к ней.

Почерк был Эйрин. Свой собственный, наклонный, с нажимом на левых нижних петлях — она узнала его так, как узнают своё отражение, неожиданно и с холодом в затылке.

«Мейра. Если ты меня читаешь — я уже была здесь одиннадцать раз. Ты найдёшь эту книгу там же, где и всегда. Не верь мне, когда я улыбаюсь. И не давай мне спать рядом с водой.

— Пятнадцатая».

Эйрин опустилась на колени. Книга казалась в её руках на удивление тёплой — как будто её только что держал живой человек.

— Одиннадцать, — прошептала она.

— Одиннадцать, — согласилась Мейра. — А Ула говорила — четырнадцать. Знаешь, что это значит?

Эйрин не ответила. Она смотрела на свой почерк и понимала то, от чего хотелось кричать: цифры расходились. Значит, часть попыток орден стёрла так глубоко, что не осталось даже кувшинов и зарубок. Значит, где-то между одиннадцатой и четырнадцатой были циклы, которых не помнил никто. Даже камень.

«Мы не храним память, — сказал вдруг камень в её сумке, тихо, как говорят сквозь сон. — Мы храним то, что осталось после стирания. И иногда стирают не только её».

Эйрин подняла голову. Мейра всё ещё смотрела на неё.

— Спи, — сказала старуха. — Завтра дренаж. А послезавтра — то, чего орден боится больше, чем тебя. То, что пишет в архиве само.

Глава 9. Слова, которых никто не произносил

Дренаж начинался в полуразвалившейся водокачке за западной стеной Кёргейла — там, где город заканчивался, а пустоши ещё не начинались, и стояла полоса никому не нужной земли, поросшей ржавым репейником. Люк был свинцовый, под ним — ржавые ступени, и ступени вели вниз так ровно, что становилось ясно: кто-то спускался сюда часто и недавно.

Они шли втроём: Эйрин, Корвен и проводник Гаснущих — немой юноша с якорем-колокольчиком, который он не звенел, а просто держал в кулаке. Мейра дошла до люка и осталась наверху: её книгу нельзя было показывать в городе.

— Внизу три правила, — сказала она напоследок. — Не читай вслух то, что пишет перо. Не открывай ларцы с чёрными сургучными печатями. И если перо остановится — уходи. Перо останавливается, только когда архив начинает писать о тебе.

Тоннель был сухим. Это удивляло: вся вода в этих краях молчала, но здесь молчало и само время. Стены переходили от кирпича к прессованному грунту, от грунта — к чёрному камню, и в чёрном камне время от времени мелькали ниши с урнами. Эйрин насчитала до сорока, потом перестала считать. Урны были запечатаны воском. Красным, чёрным, белым.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.